18+

Александр Игин

Кобыз

Цикл: Степной круг

Александр Игин

Кобыз. Цикл: Степной круг

«Издательские решения»

Игин А.

Кобыз. Цикл: Степной круг / А. Игин — «Издательские решения»,

Старик у костра рассказывает о джуте, когда степь перестала петь, и о человеке по имени Коркыт, который срезал с хвоста умершего коня шестьдесят волосков, выдолбил пустоту в стволе карагача и натянул кожу верблюдицы. Он играл — и первый раз ничего не вышло. Потом степь ответила. Роман о том, как рождаетсязвук, как платят за него кровью и одиночеством, и о том, что кобыз — не игрушка для сытых пиров, а голос самой земли. Пока есть кому слушать — кобыз звучит.

© Игин А.
© Издательские решения

Содержание

Пролог. Первый костёр 6
Часть I. Джут 7
Глава 1. Песок в открытой ране 7
Глава 2. Дерево, которое дышит 9
Глава 3. Первый раз — не вышло 11
Глава 4. Кровь под ногтями 13
Глава 5. Еламан 15
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Кобыз
Цикл: Степной круг

Александр Игин

© Александр Игин, 2026

ISBN 978-5-0071-7574-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог. Первый костёр

Кизяк трещит плохо, когда ветер с запада. Дым стелется по земле, лезет в глаза, щиплет так, что слёзы текут сами, безо всякой печали.

Старик у костра не вытирает лицо. Сидит, сгорбившись, греет над красными углями узловатые, в старых шрамах пальцы. Рядом шипит тёплый кумыс в пузатой деревянной чаше.

Собрались четверо. Мальчишка лет пятнадцати — всё норовит подкинуть сухой полыни, чтобы вспыхнуло поярче, и тут же получает лёгкий, но звонкий щелчок по затылку от матери. Рядом — хмурый рыбак, от которого за три шага пахнет тиной и солью. Чуть поодаль, в тени, сидит сухонькая старуха, кутается в рваный платок и смотрит не на огонь, а куда-то в степь. И ещё один старик, ровесник рассказчика — этот вчера весь вечер перебивал, спорил, плевался, но сегодня пришёл первым.

— Налей-ка, — хрипит кюйши, не глядя на мальчишку. — Горло пересохло, как солончак в июле.

Мальчишка торопливо черпает из торсыка, протягивает пиалу. Кюйши делает два долгих глотка, вытирает усы тыльной стороной ладони и щурится на огонь.

— Было это… — начинает он медленно, пробуя слова на вкус. — А год какой был, я тебе и не скажу. Может, в год Барса. А может, в год Зайца. Дед мой рассказывал, а дед врал много. Особенно когда кумыс кислый попадался.

Второй старик в тени хмыкает, но молчит.

— Только одно точно знаю, — продолжает кюйши, и голос его вдруг становится ниже, глуше. — Степь тогда перестала петь. Понимаешь? Не то чтобы ветер стих — ветер-то дул, песок гнал. А звука не стало. Трава не шуршит, потому что высохла в пыль. Птица не кричит, потому что улетела или сдохла. Даже волки не выли — только зубами щёлкали в оврагах. Джут пришёл. Такой, что земля трескалась, как губы у больного.

Мальчишка подаётся вперёд, открыв рот. Огонь отражается в его чёрных глазах.

— И вот в ту самую тишину, — кюйши поднимает палец, чёрный ноготь которого похож на кусок старого рога, — один человек взял топор. Не чтобы дров нарубить. Не чтобы юрту подпереть. А чтобы выдолбить пустоту.

Пауза. Кизяк с тихим вздохом оседает в золу.

— А что было дальше… — кюйши вдруг обрывает себя, кряхтит и тянется за пиалой. — А дальше — в другой раз. Спина ноет. Налей ещё, парень. Да идите вы все спать, нечего уши греть. Завтра расскажу. Если не забуду.

Часть I. Джут

Глава 1. Песок в открытой ране

Костёр сегодня разгорался лениво. Кизяк был сыроват, шипел, выпускал горькие сизые струйки, но люди всё равно подтянулись. Старик-спорщик уселся на старое потёртое седло, кряхтя устроил больную ногу поближе к теплу. Рыбак молча чистил ногтем заусенец на обветренном пальце. Старуха сидела всё там же — на границе света и темноты, словно боялась, что огонь высветит её морщины. А мальчишка уже держал наготове пиалу, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

Кюйши долго не начинал. Пил кумыс маленькими глотками, смотрел, как искры улетают в чёрное беззвёздное небо, и только когда чаша опустела наполовину, заговорил:

— Джут — это не когда просто голодно, парень. Голод — он в животе урчит, его перетерпеть можно, ремень потуже затянуть. Джут — это когда сама степь умирает, а ты в ней живёшь, как вошь в остывшей шкуре.

Он сплюнул в золу, потёр колючий подбородок.

— Дед мой говорил, что началось всё ещё с осени. Дождей не было ни капли. Трава встала жёлтая, ломкая — наступишь, а она хрустит, как сухая кость. А зимой ударил мороз без снега, потом оттепель, потом снова ледяной ветер. Землю стянуло коркой, такой толстой, что ни одно копыто не пробьёт. И пошёл мор. Степь хрипела, парень. Буквально хрипела. Идёшь по лощине — а там овцы лежат, раздутые, глаза белые, будто солью засыпанные. Кобылы падали прямо на ходу, мордой в твёрдый наст, и даже не дёргались. А за скотом пошли люди. Сначала старики и младенцы — тихо так уходили, будто просто засыпали. Потом и мужики крепиться перестали.

— А Коркыт? — не выдержал мальчишка. — Он что, богатый был? Скота много держал?

Старик на седле фыркнул:

— Какой богатый, щенок? Разве кюйши про баев поёт?

Кюйши махнул на него рукой, но без злости.

— Не перебивай, старый. Сам знаю, что говорю. Хотя… может, и вру. Дед рассказывал, что было у Коркыта три десятка овец да кобыла с жеребёнком — вот и всё богатство. Но главным у него был Тарлан. Вороной конь. Не просто скакун — друг. Таких коней степь раз в сто лет рождает: грудь широкая, как у беркута, ноги сухие, а взгляд такой, будто он человеческую речь понимает, только ответить не может. Ему, Коркыту, тогда уже за сорок перевалило. Лицо обветренное, чёрное от солнца и мороза, в густой бороде седина пробивается, как ковыль на солончаке. Не красавец. Жилистый, молчаливый. Люди в ауле его уважали, но побаивались немного — уж больно долго он мог сидеть у огня и смотреть в одну точку, будто видел там то, чего другим не дано.

Кюйши замолчал, прислушиваясь к ветру за спиной. Где-то далеко в темноте тонко завыл шакал, и сразу смолк.

— Тарлан держался дольше всех, — тихо продолжил сказитель. — Коркыт ему последнюю горсть ячменя отдавал, сам коренья грыз, кору ивовую жевал. А толку? Пришло сухое гнильё. Лёгкие у коня сгорели от морозного воздуха и пыли. В последний день Тарлан уже встать не мог. Лежал на боку в закутке, дышал тяжело, со свистом — будто кузнечные мехи рваные воздух гоняли. Пена розовая у губ. Коркыт сидел рядом на корточках, держал его тяжёлую голову у себя на коленях и гладил между ушами. А конь смотрел на него. Долго так смотрел. Потом вздохнул глубоко-глубоко, вытянул шею… и всё.

Рыбак у костра медленно опустил голову. Старуха в тени чуть заметно покачалась из стороны в сторону.

— Думаешь, Коркыт завыл? — кюйши глянул на мальчишку из-под нависших бровей. — Как баба, волосы на себе рвать стал? Нет. У степняка в джут слёз не остаётся — всё высушило. Коркыт сидел над мёртвым конём, пока тело не начало стыть. Потом достал из-за пояса нож. Пальцы у него не дрожали. Он взял прядь из самого конца вороного хвоста — длинного, жёсткого, как проволока. Отсчитал ровно шестьдесят волосков. Ни больше, ни меньше. Отрезал, аккуратно свернул кольцом и спрятал в кожаный мешочек на груди.

— Зачем шестьдесят? — шёпотом спросил парень.

— А кто его знает, — пожал плечами кюйши. — Дед говорил, что по числу жил в человеческом теле. А по мне — так просто сколько в руку легло, столько и отрезал. Красиво же звучит — «шестьдесят». Складно.

Он усмехнулся в усы, подхватил щепкой тлеющий уголёк и прикурил короткую трубку.

— На следующее утро аул снялся с места. Решили идти на север, к речным поймам, где камыш ещё остался — может, хоть кто-то дотянет. Собирались тихо, без криков и проклятий. Грузили на тощих верблюдов остатки кошмы, котлы, слабых стариков. Подошёл старшина аула, Байболат, похлопал Коркыта по плечу: «Пойдём, брат. Здесь только смерть осталась». А Коркыт посмотрел на степь — серую, бескрайнюю, пустую, как вылизанная собакой миска, — и покачал головой: «Идите. Я останусь. Если все уйдут, кто же здесь останется, чтобы помнить?» Байболат плюнул с досады, махнул рукой — мол, сдурел мужик от горя — и тронул верблюда.

Кюйши затянулся, выпустил густое облако дыма.

— Ушли. Скрип арб стих за холмом, пыль осела — и тишина накрыла аул, как тяжёлое войлочное одеяло. Остался он один среди чёрных кострищ и обглоданных костей. Ветер гонял по земле перекати-поле, и каждый шорох резал уши, как песок в открытой ране. Постоял Коркыт, потрогал мешочек с конским волосом на груди. Посмотрел на свой топор, воткнутый в старый пень. И пошёл в овраг, на самый край аула.

Там, на дне сухой балки, рос старый карагач. Кривой, корявый, с корой, похожей на панцирь старой черепахи. Корни у него уходили глубоко в камень, поэтому он и не высох до конца — держался за землю из последних сил. Коркыт подошёл вплотную, приложил шершавую ладонь к холодному, потрескавшемуся стволу. Постоял так немного, прислушиваясь к тому, как внутри дерева, глубоко под корой, едва слышно шевелится жизнь.

— «Кешир», — сказал он тихо. «Прости».

И с размаху ударил топором.

***

Кюйши замолчал. Трубка в его руке погасла. Никто у костра не шелохнулся — только мальчишка громко сглотнул, и этот звук показался в ночной тишине удивительно громким.

— Вот так оно и началось, — тихо сказал старик, убирая трубку за пояс. — А дальше… дальше он начал копать. Но об этом завтра. Налей-ка ещё, парень, совсем горло забил дымом.

Глава 2. Дерево, которое дышит

Ветер к ночи притих, и над степью повисла огромная, желтоватая, как старый верблюжий зуб, луна. Кизяк в костре прогорел до красной сердцевины — жар от него шёл ровный, сухой, почти без дыма.

Слушатели собрались раньше обычного. Старик на седле уже не ворчал, только укрыл колени старым чапаном. Рыбак принёс сушёной тарани — положил на тряпицу у самого края света, молча, без поклона. Старуха в тени перебирала в пальцах сухой стебелёк полыни. А парень снова сидел ближе всех, уперев подбородок в острые коленки.

Кюйши отломил кусок рыбы, пожевал медленно, запил кумысом из пиалы и вытер губы.

— Ты когда-нибудь рубил карагач, парень? — спросил он вдруг, глядя в угли.

Мальчишка замотал головой.

— Вот и не берись без нужды, — усмехнулся старик. — Карагач — дерево злое. Его топор не берёт, он как железо вязкий. Пока срубишь — семь потов сойдёт, а руки гудят так, будто ты ими камни ворочал. Но срубить — это ещё полбеды. Коркыт повалил его к вечеру, отрубил сучья, выбрал самый толстый, кривоватый комель у корня — там древесина плотнее всего, свилеватая, как мышцы у старого волка. Притащил чурбак к себе под дырявый навес, где ещё пахло навозом и горелой шерстью.

Кюйши сделал паузу, покрутил в руках пустую пиалу.

— И тут, понимаешь, он не стал ни пилить его, ни расщеплять, ни клеем мазать. Дед мой говорил: «Глупый мастер строит дом из досок, а умный вынимает лишнее из целого камня». Так и Коркыт. Взял он тесло — кривое такое, с узким железным лезвием, каким корыта для скота долбят, — сел на землю, зажал чурбак коленями и начал бить. Тюк. Тюк. Тюк.

Старик тихонько постучал костяшками пальцев по деревянному ободу пиалы. Звук вышел глухой, деревянный, тоскливый.

— Он не форму вырезал, парень. Он вынимал пустоту. Понимаешь? Ему не деревяшка нужна была. Ему нужно было место, куда звук войдёт, покрутится там, как ветер в овраге, и выйдет наружу живым. Чтобы инструмент дышал. Как лёгкие у Тарлана, которым в последний день воздуха не хватило.

Мальчишка заворожённо смотрел на узловатые руки сказителя.

— Долбил он три дня. А может, четыре — я путаюсь, кто там считал. Солнце встаёт — он тюкает. Солнце садится — он тюкает. Сначала стружка летела крупная, белая, пахла горьким соком. Потом пошла мелкая, как труха. Стенки у чаши становились всё тоньше, тоньше… На второй день на ладонях у Коркыта вздулись водяные мозоли. На третий — лопнули. Кожа слезла лохмотьями, мясо красное наружу вышло. Рукоять тесла стала скользкой от крови, подол старого халата весь в бурых пятнах, будто он барана резал. А он не останавливается. Только зубы сожмёт так, что желваки на скулах ходят, плюнет на ладони — и снова: тюк, тюк. Сам себе деревянную могилу копает, которая должна стать колыбелью.

— И никто не пришёл? — тихо спросил рыбак, не поднимая глаз. — Совсем никого в ауле не осталось?

— Почему никого? — кюйши криво ухмыльнулся. — Один пришёл. К вечеру третьего дня, когда сумерки уже синие стали, слышит Коркыт — шаги. Тяжёлые, шаркающие. Поднимает голову — стоит перед навесом мужик. Оборванный весь, глаза провалились, как у хорька, живот к позвоночнику прилип. Из дальнего кочевья, видать, отбился от своих, бродяга. Посмотрел он на Коркыта, на кровь на руках, на выдолбленный чурбак — и ничего не спросил. Сел у потухшего очага, достал из-за пазухи кусок засохшей, заплесневелой сычужины, обгрыз грязь и давай жевать.

Старик на седле громко фыркнул, а мальчишка прыснул в кулак.

— Жевал он долго, с чавканьем, — невозмутимо продолжал кюйши, — потом отрыгнул громко, пукнул прямо в тишину, ухмыльнулся беззубым ртом и говорит: «Эй, дурак. Ты чего из бревна корыто делаешь? Жрать-то всё равно нечего. Наливать туда нечего». И заржал. Сипло так, по-собачьи.

Кюйши обвёл взглядом слушателей.

— А Коркыт не засмеялся. Даже головой не повел. Посмотрел на этого голодного — и вдруг понял: вот он, человек. Не герой из сказки, не батыр в шёлковом халате. Грязный, вонючий, голодный, который над чужим горем ржёт, потому что иначе сам сдохнет. И именно для таких, для живых и грешных, он эту пустоту и долбит. Бродяга повалялся у тёплой золы, свернулся калачиком и захрапел. А Коркыт дождался глубокой ночи.

Сказитель понизил голос почти до шёпота. Огонь в костре отражался в его слезящихся глазах.

— Ночью он достал кусок старой шкуры верблюдицы — ещё с осени берег, выделанной, тонкой, как пергамент. Размочил её в остатках снеговой воды, натянул туго-туго на нижнюю часть выдолбленной чаши, обвязал сыромятными ремешками. Верх оставил открытым — чтобы звук не запирать, чтобы наружу рвался. Потом выстругал гриф, приладил кобылку из старой бараньей кости.

Кюйши выдержал длинную паузу. В степи было так тихо, что слышалось, как потрескивает остывающий кизяк.

— А под утро достал из мешочка на груди вороной волос Тарлана. Свил две струны. На нижнюю пустил все шестьдесят волосков — чтобы гудела низко, тяжело, как земля под копытами. А на верхнюю… дед говорил, что на верхнюю он тридцать волосков взял. Откуда взял, если всего шестьдесят срезал? А чёрт его знает. Может, у кобылы какой дохлой по дороге выдрал, а может, дед мой опять приврал для ровного счёта. Но факт есть факт: две струны встали на место. Натянул он их до звона, тронул пальцем — а в руке смычок из кривой ивовой ветки с таким же конским волосом.

Кюйши замолчал, тяжело вздохнул и откинулся назад, упираясь ладонями в землю.

— Инструмент был готов. Страшный, кривой, в засохшей крови и грязи. Мёртвое дерево, мёртвая кожа, мёртвый волос. И всё это ждало, когда в него вдохнут душу. Налей-ка ещё, парень. Ночь длинная, а язык у меня сегодня как наждак.

Глава 3. Первый раз — не вышло

Кизяк в костре прогорел, но дым всё ещё тянулся тонкой белой ниткой к чёрному небу. Старик на седле подбросил пару сухих веток тамариска — огонь вспыхнул веселее, выхватив из темноты скуластое лицо рыбака, застывшего в ожидании, и сгорбленную фигуру старухи, которая, казалось, даже не дышала.

Кюйши не торопился. Он вытер губы рукавом, посмотрел на мальчишку, который уже держал наготове пустую пиалу, и тихо усмехнулся:

— Ты, небось, думаешь, парень, что взял Коркыт смычок, повёл по струнам — и сразу полилась такая музыка, что звёзды с неба посыпались, а мёртвые в могилах заулыбались?

Мальчишка смущённо шмыгнул носом, но кивнул.

— Дурак ты, — беззлобно сказал старик. — В сказках для глупых баб оно так и бывает. А в жизни, когда ты берёшь мёртвое дерево, мёртвую кожу и мёртвый конский волос, они тебе не поют. Они сопротивляются.

Кюйши подался вперёд, опёрся локтями о колени.

— Рассвет только-только занимался. Небо на востоке стало серым, как брюхо старого волка. Холодно было так, что пар изо рта шёл густой, тяжёлый. Коркыт сел на обрубок карагача перед навесом, поставил кобыз между колен — как всадник держит молодого, необъезженного жеребца. Ободранные ладони саднили, пальцы за ночь распухли и плохо гнулись. Он приложил смычок к струнам, зажмурился и дёрнул.

Старик скривился, будто раскусил кислую ягоду.

— И раздался такой звук, парень, будто голодную кошку за хвост дёрнули и об камень приложили. Визг. Скрип. Дребезг противный, аж зубы заныли. Волос по волосу проскользнул всухую, канифоли-то не было — откуда ей в голой степи взяться? Только серу сосновую со старой оглобли соскрёб, а она крошилась. Струны загудели вразнобой, захрипели, будто кто-то в глотку песку насыпал.

Рыбак у костра тихо хмыкнул.

— Коркыт аж дёрнулся, — продолжал кюйши. — Опустил смычок. Сидит, смотрит на эту кривую деревяшку у себя в коленях. И такая на него тоска накатила — хуже голода. Сидит и думает: «Может, и правда бродяга прав? Может, я дурак старый, сдурел с горя? Хорошее дерево зря загубил. Вон, живой карагач стоял, корнями за жизнь держался, а я из него уродца выдолбил, который даже пищать толком не умеет. Не тот я человек. Не дано мне».

— И что, бросил? — не выдержал мальчишка.

— Чуть не бросил, — кивнул кюйши. — Замахнулся уже, хотел об камень разбить к шайтановой матери. А тут из-под навеса храп раздался. Бродяга этот, голодный, во сне перевернулся, причмокнул губами и захрапел ещё громче. И тишина вокруг. Мёртвая, глухая степь, где даже ветер не шевелится. Посмотрел Коркыт на спящего бродягу, потом на свои сбитые в кровь пальцы, потом на вороной волос Тарлана, туго натянутый над пустотой.

Кюйши понизил голос, и слова его зазвучали тяжело, как камни, падающие в колодец:

— И тут в нём не жалость проснулась. Жалость — она слабая, от неё только слёзы текут. В нём злость поднялась. Лютая, холодная злость воскрешения. «Нет, — думает. — Не отдам. Ни коня своего не отдам в забвение, ни степь эту не отдам тишине. Будешь петь, проклятый. Хоть с кровью, хоть со скрипом, но заговоришь».

Старик снова поднял руку, показывая, как Коркыт сжал смычок.

— Он не стал больше дёргать. Он прижал пальцы левой руки к струнам — не подушечками, как на домбре играют, а прямо тыльной стороной, ногтями, сбоку, чтобы зажать насмерть. И повёл смычком. Медленно. Тяжело. Надавливая всей силой, будто землю пахал. Струны задрожали, завыли низко-низко. Сначала хрипло — точь-в-точь как предсмертный

вздох Тарлана, когда воздух из лёгких со свистом уходил. Коркыт не отпустил. Повёл обратно. И пустота внутри карагача вдруг отозвалась. Загудела утробно, глубоко, будто сама земля под ним задышала.

У костра никто не шевелился. Даже старик-спорщик замер, приоткрыв беззубый рот.

— И степь услышала, — тихо сказал кюйши. — Ствол срубленного карагача рядом с навесом мелко задрожал. Земля под ногами пошла мелкой рябью, и мелкие камешки у очага запрыгали, застучали друг о друга. Сверху, с кривой балки навеса, бесшумно опустился огромный степной филин — сел, нахохлился, уставился жёлтыми глазищами прямо на Коркыта, даже не моргнул. Из полыни, прижав уши, вышли две тощие лисицы-корсаки — сели в десяти шагах, смотрят, не боятся.

Кюйши развёл руками, глядя в темноту за спинами слушателей.

— А потом ветер повернул. Тяжёлые, свинцовые тучи, что три недели висели над головой сухим брюхом, вдруг медленно развернулись, заклубились, накрыли горизонт. Не пошёл дождь — нет, рано ещё для дождя. Но воздух стал влажным, густым. И впервые за всю весну на мёртвую, серую траву выпала роса. Холодная, чистая, как слёзы, которых у Коркыта не было.

Сказитель замолчал. Долго сидел неподвижно, глядя в огонь. Потом вдруг встрепенулся, крякнул, потянулся всем телом так, что хрустнули старые кости, и хлопнул себя по коленям:

— Вот и вся первая глава истории. Про то, как дерево голос обрело. А что было дальше, когда он с этой деревяшкой один на один остался… Это уже в следующий раз. Налей-ка ещё, парень, совсем у меня в груди загудело.

Глава 4. Кровь под ногтями

Ночь выдалась сырой, после полуночи потянул низовой ветер с оврага, и кизяк в костре то и дело шипел, выбрасывая мелкие красные искры. Старик-спорщик кутался в свой рваный чапан, потирая поясницу. Рыбак сидел неподвижно, глядя на угли тяжёлым, немигающим взглядом. Старуха в тени тихо качалась из стороны в сторону, словно баюкала кого-то невидимого. А парень снова сидел впереди всех, затаив дыхание.

Кюйши долго молчал. Он вытянул перед собой левую руку, покрутил её у самого огня, разглядывая тёмные, уродливые, как старые коренья, пальцы. Ногти на них были толстые, жёлтые, искривлённые.

— Вот ты, парень, на домбре играть умеешь? — спросил он вдруг негромко.

Мальчишка смущённо мотнул головой:

— Немного, ата. Дед показывал пару кюев.

— А ты видел, как баи на пирах играют? — кюйши криво усмехнулся. — Сидит такой в шёлковом халате, пузо на подушку положил, пальчиками по тонким жилкам перебирает — трень-брень, красиво, звонко, девки улыбаются, баранина в котле булькает. На домбре играть — это радость, парень. Там лады есть, там струна мягкая, нажмёшь подушечкой — она и поёт.

Он сжал свою левую руку в кулак, так что побелели костяшки.

— А на кобызе так нельзя. На кобызе нет ладов. Там под струнами — пустота. Если нажмёшь подушечкой мягкой — звук умрёт, увязнет в мясе, как копыто в солончаке. Чтобы конский волос запел, его нужно прижимать сбоку, тыльной стороной ногтей. Впритирку к самому основанию.

Кюйши опустил руку, взял из рук парня пиалу, отхлебнул кумыс и продолжил уже тише, глуше:

— На следующее утро после того, как степь ему ответила, Коркыт проснулся ещё до солнца. Бродяги под навесом уже не было — ушёл в темноте, даже головешки не поправил. Коркыт хотел подняться, опёрся на левую руку — и чуть не завыл, прикусив губу до крови.

Старик покачал головой, словно сам почувствовал ту давнюю боль.

— Рука за ночь распухла так, что стала похожа на багровый бурдюк, набитый тёплой водой. Пальцы не сгибались — стояли растопыренные, сизые, как у мертвеца. Под каждым ногтем запеклась чёрная корка крови. Пока он ночью тянул этот бесконечный, тяжёлый гул, жёсткий вороной волос Тарлана врезался прямо в живое мясо, содрал кожу до самого ногтевого ложа, воспалил всё до кости. Кобылка и гриф кобыза были бурыми от его собственной крови.

Мальчишка невольно спрятал руки за спину, сглотнул.

— Что делать? В ауле ни бабки-знахарки, ни мази, ни жира бараньего — всё с собой увезли. Вышел Коркыт из-под навеса, качаясь от слабости и боли, и побрёл вниз, в овраг, к тому самому месту, где срубил карагач. Искал траву. В джут любая трава — редкость, но там, в тени камней, где ночью выпала первая роса, пробились жёсткие, седые кустики горькой полыни и приземистой дикой герани.

Кюйши показал, как Коркыт опустился на колени в сухую глину.

— Правая рука тоже дрожала от усталости, пальцы сводило судорогой. Тогда он наклонился и стал срывать эти жёсткие, пыльные листья прямо зубами. Рвал, жевал их во рту, смешивая с густой, горькой слюной, пока челюсти не свело от жуткой, выворачивающей горечи. Выплюнул эту зелёную кашицу на ладонь и стал обмазывать распухшие, кровоточащие пальцы.

Старуха в тени тихо охнула, прикрыв рот краем платка.

— Жгло так, парень, будто он руки в раскалённые угли сунул, — голос кюйши зазвенел, как натянутая тетива. — В глазах у него потемнело, перед лицом поплыли красные круги, к горлу подкатила тошнота. Он упал на бок в сухую траву, вцепился здоровой рукой в землю,

скреб ногтями глину, чтобы не закричать. Лежал так, задыхаясь, пока солнце не поднялось над горизонтом и не начало припекать спину. Но не ушёл. И кобыз не бросил. Только обмотал пальцы лоскутами от старой рубахи, чтобы кровь не так сильно текла, и к полудню снова потянулся за смычком.

Кюйши замолчал. Долго смотрел на огонь, потом поднял глаза на мальчишку.

— Вот ты спрашивал вчера, почему не каждый может взять кобыз в руки. Дед мой говорил: «Кобыз — не игрушка для богатых юрт». Пойми это, щенок, и запомни на всю жизнь: на кобызе нельзя играть красиво. Красиво — это когда сыто и тепло. А кобыз родился из голода, из одиночества и из рваного мяса под ногтями. Это не музыка. Это кровь. Если ты не готов отдать ему свою боль — он тебе в ответ только визжать будет, как битая собака.

В костре с тихим треском развалился прогоревший кизяк, взметнув вверх сноп золотых искр. Рыбак медленно кивнул своим мыслям, а старик на седле впервые за вечер не стал спорить — только глубоко вздохнул и отвернулся в темноту.

— Налей-ка ещё, парень, — устало сказал кюйши, опуская голову на грудь. — Что-то старые раны к непогоде заныли. Завтра расскажу, кто первый пришёл на этот крик.

Глава 5. Еламан

Ветер сегодня стих совсем, и над степью разлилась такая глухая, тягучая тишина, что слышно было, как в костре потрескивает сухая верблюжья колючка. Кизяк давал ровный, густой жар.

Старик на седле сегодня даже не стал поправлять чапан — сидел прямо, уперев подбородок в посох. Рыбак принёс в горсти жареного проса, рассыпал на тряпице между всеми, и мальчишка то и дело таскал по зёрнышку, поглядывая на сказителя. Старуха в тени сидела неподвижно, только глаза её, глубоко запавшие, поблескивали в отсветах пламени.

Кюйши отпил кумыса, облизал сухие, потрескавшиеся губы и негромко заговорил:

— Прошло после того утра дней пять. А может, семь — дед мой в счёте путался, как старая баба в нитках. Пальцы у Коркыта немного прижились: кровь остановилась, вместо неё под ногтями наросла толстая, твёрдая, как конское копыто, мозоль. Теперь он мог прижимать струну так, что она не визжала, а тянула густой, низкий стон — словно ветер в печной трубе перед бураном.

Кюйши подбросил щепку в огонь, проследил, как она занялась синим язычком пламени.

— И вот однажды под вечер, когда солнце уже упало за бугор и степь окрасилась в цвет запекшейся крови, услышал Коркыт топот. Не табун шёл — один конь. Шёл тяжело, спотыкался, хрипел на каждом шагу. Коркыт не обернулся — сидел под своим дырявым навесом, держал кобыз между колен и тихонько водил смычком, пробуя звук.

Вскоре из-за оврага показался всадник. Под ним был рыжий мерин — страшный, как сама смерть: рёбра торчат, будто обручи на старой бочке, шея вытянута, из ноздрей тянется грязная слизь. На спине у мерина сидел молодой джигит. Звали его Еламан. Был он из дальнего рода, с запада, где джут выкосил людей подчистую. Скулы у парня обтянуты серой кожей, глаза лихорадочно блестят, губы в чёрных трещинах, а на плечах — рваный, прожжённый у костров тулуп.

— Зачем он приехал? — шёпотом спросил мальчишка у костра.

— А кто его знает, парень, — пожал плечами кюйши. — Может, воду искал. Может, думал в брошенном ауле хоть корку сухого сыра или кость обглоданную найти. Подъехал он к навесу, остановил мерина. Смотрит: сидит посреди пустого аула чёрный, оборванный мужик и водит палкой по какой-то кривой деревяшке. Посмотрел Еламан на кобыз, на натянутую верблюжью шкуру, на пучок конского волоса… И вдруг как захохочет!

Старик на седле дёрнулся от неожиданности, а кюйши изобразил этот смех — сухой, лающий, срывающийся на хрип:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.